

ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ

1

До чего же я люблю раннее утро. Оно ко мне приходит со стороны огорода, всегда непохожее на вчерашнее: то еле-еле обозначится, то закатывается ярким тёплым шаром в окно. Сразу хочется вскочить с постели и катить его к дверям. Отец входит в мою комнату. (Она, конечно, не только моя, но раз я здесь сплю, так значит, больше моя). Отец меня кыликает, щекочет:

— Любишь ты поваляться, Ладушка, - говорит он, щурясь от красного солнца. - Ветер, должно, будет...

А сам опять: «Кыли, кыли, кыли...» С ума сойти, как я извиваюсь. Когда-нибудь я кончусь от его щекотки. Я бросаюсь ему на шею, а он меня кружит, поддерживая одной рукой, чтоб я не отцепилась ненароком. Папа мой большой и красивый, у него нос с горбинкой, из-за этого он похож на коршуна или колдуна. Мама моя верит, что он колдун.

У нас на трубе однажды загорелась сажа, крику был полон дом. «Горим, отец!» — кричала мама. Витька, брат мой старший, кинулся в сенцы, загромыхал вёдрами, бабушка Макришка упала в святой угол: «Царица небесная... — запричитала, — сохрани и помилуй...» А папа, обойдя три раза хату со святым образом, сел сиднем и читал «Богородицу», «Молитву Господню», не обращая более никакого внимания на панику. А потом сказал волшебные слова: «Фардон, Хавилон, пойдя догори, а боле не займи». Ну, после этих слов труба загудела, а потом из неё валом дым повалил, и пожара как не было. Радости, конечно, не было конца. Куда там! Мама так и увивалась возле отца: «Никитушка, да как же ты его унял, сатанюку?! Я уже нацелилась добро из хаты вытаскивать... А ты огонь заколдовал, и он усмирился...» Бабушка Макришка глядит на маму и говорит, что она малохольная: какие ж колдуны молитвы читают.

...Наконец, я отрываюсь от шеи отца.

Совсем он меня закружил! Кидает меня из одного угла в другой, то прялку качнула, то на поставец налетела.

— Держись, держись, Ладушка! — хватает меня за плечо отец.

Мне нравится, что меня он так называет. На самом деле меня Лидкой больше погоняют. Конечно, не понравилось отцу, как меня назвали. Он как пришёл с войны, так и сказал, что ему не нравится это имя. Мне уже было три года, когда он пришёл. Не видел меня маленькой. Не тетёшкал. Вот теперь и играет со мной до сих пор. Его за это мама иногда

ругает: «Оставь, старый, девчущку в покое, она уже не маленькая...» А отец не очень-то маму слушает: «Ты, Настасья, делай своё дело. Не лезь к нам со своими указками. Пусть ребёнок насмеётся вдоволь, а то вырастет и не до смеха ей будет...»

Захватив с собою парочку ещё тёплых оладий, я выскальзываю из калитки на улицу. Старенький пиджак отца чуть ли не до земли достаёт, сандалеты каши просят, разлезлись совсем. Ну да мне лишь бы ноги не исколоть, я же на речку подамся, чуть трава обсохнет. А сейчас я лезу на стенку, чтоб солнышко меня всю доставало, чтоб получше рассмотреть наше село.

Оно притулилось к невысоким горам, которые напозаают друг на друга; местами между ними темнеют впадины оврагов, куда, конечно, мы ещё не раз пойдём — за земляничкой, или пасти стадо подойдёт наша очередь. Правда, я не очень люблю за коровами бегать по ярам, какая-нибудь забьётся непонятно куда, а отец считает не досчитается, вот я и гоняю туда-сюда, ищу её, а корова под веткой лоха или под кустом шиповника отдыхает себе, наевшись до отвала. Другое дело — пасти коров на равнине, которая к горам притулилась. Тут ветерок выпархивает со всех сторон, развеивает порыжелые гривы камыша, растущего по речке, устраивает трёпку зарослям акации, тёмному ясеню, светлым белолыткам. Говорят, тут росли когда-то и дуб, и ольха, и бук, а теперь куда-то всё подевалось, будто корова языком слизала прежние леса. Я и представить их не могу. У меня своя география. Витька мне читает иногда свой учебник по географии, я знаю, что земля большая и разная. Но мне нравится по своей земле ходить и узнавать её.

Я сижу на стене, которая была сложена бабушкой Макришкой и дедушкой Мишкой из белого камня, вырубленного в горе. «Ох, и напетались мы с этим камнем, — вздыхала бабушка. — Особливо тяжко было каменья сюда таскать. Приладились было на быках возить, но белолобый упал на ноги, болезнь какая-то с ним приключилась...». Ещё бы не упасть на ноги ему, бедному, вон какие каменюки лежат! «Будто телята разлеглись по стене», — думаю я, а сама гляжу на лаковые листья бузины и сирени, которые растут за хатой, протягивают друг другу ветки, сплетаются, образуя зелёную крышу. Там от дождя можно спрятаться, или когда в кулочки играем с Витькой, перво-наперво я туда шныряю.

Ну вот и пиджачишко можно снять, уже солнышко всю приласкало, высветило до самого донышка глаза бабушкины. Она телепается еле-еле ко мне. У бабушки подагра, и она, чтоб уменьшить свои мучения, носит в правом кармане телячью косточку, натирает ноги денатуратом, прикладывает к ним разрезанный корень белены. Да толку мало.

— Чего ты хочешь, бабушка? — бегу я к ней навстречу.

— Пошла бы ты, внученька, собрала мне плакун-травы. Хорошо её собирать на утренней зорьке. Только копай её не лопаткой железной, а палкой какой-нибудь. Не забыла, какая это травка?

Я несусь за этой травкой, перепрыгивая кусты. Как мне её забыть? Уж не первый раз собирать её приходится. Это ж непростая трава! Будет бабушка опять изгонять нечистую силу из нашей хаты, шепча: «Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало... Будь ты страшен злым бесам, полубесам, ведьмам киевским...». Хоть как я прислушиваюсь, не могу разобрать, что она там ещё шепчет. И, главное, никак не пойму, почему «ведьмам киевским» — неужто из Киева к нам ведьмы эти привадились? Ну да мне это не особенно и важно, лишь бы злые духи плакали от этой травы и сбегали отсель куда глаза глядят. Нечего им тут околачиваться! Без них то это, то другое не ладится...

Я рву траву около заброшенного колодца в конце огорода. Когда-то там родник бил, водичку нацеживал по самую шейку колодца, а потом уснул родник и оголились камни на стенах и дно — тоже каменное. Даже бабушка не помнит, кто этот колодец так любовно охорашивал. Мама говорит, что родник этот может когда-нибудь проснуться, а папа ей: «Жди с моря погоды!».

Целую охапку плакун-травы я бросаю бабушке в передник. От глаз её разбегаются лучики: «Ох и моторная ты у меня, внученька!» Я вырываюсь из её рук и бегу по своим делам. Останавливаюсь около алычи, которая растёт на меже огорода. Половина дерева свешивается на нашу сторону, а половина — на сторону огорода тётки Нинки. Никак не могут разделить это дерево между собой соседка и моя мама. Пока они спорят, Павлик без разговоров обнесёт это дерево. У него только рубаха пузырится, когда от межи направляется к себе.

Павлик живёт с отцом, пьяницей и матерщинником, недалеко от нас. Медовую жёлтую алычу Павлик считает ничейной, раз она на меже растёт. Меня неожиданно охватывает радость: «Надо это дерево подарить Павлику!»

- Мама! — кричу я издалека, подбегаю, запыхавшись. — Ты к Пасхе шила Павлику новую рубашку?

- Ну и что? — замирает мама на пороге.

- Теперь давай ему подарим алычу, что на меже растёт.

- А чего ты распоряжаешься деревом, которое не только нам принадлежит, но и тётке Нинке? По мне и срубить это дерево не жаль, от него одни неприятности.

Тётка Нинка моё предложение встречает сверкучей улыбкой. У неё железные зубы во весь рот, лягнула её когда-то первотёлка, зубы и упали в доёнку.

- Да пусть Павлик забирает это дерево! Только он ума не даст фрукте...

- Даст ещё как! — отвечаю ей такой же улыбкой. — Вот Павлик обрадуется.

Собака Павлика злющая-презлющая. Оттого, наверное, что днями голодная, оттого, что отец Павлика не человек, а «мусор», как про него говорит мама. Лучше я побегу за куском хлеба, чтоб умаслить Полкана, что ему зря кричать: «Перестань гавкать! Я не собираюсь к вам в гости захаживать...».

Пока Полкан уминает краюшку хлеба, мы с Павликом подальше от ворот отходим, и я выкладываю ему радостную весть.

- Тю, подарок нашла, - ухмыляется Павлик. - Это ж дерево было ничейным, я и рвал там алычу всегда.

Ничего не вышло из моей затеи. Да ещё из калитки вывалился дядька Касьян:

- Ты, шельмец, иде шляешься? — зыркнул на сына из-под насупоренных включенных бровей. — Или выпороть тебя опять, - пытался он расстегнуть ремень...

Павлик и не думал дожидаться — он уже перепрыгнул забор, который шатался так же, как и его хозяин. Некоторых досок не было. Можно было разглядеть Полкана, уже управившегося с горбушкой хлеба, и теперь при выходе хозяина залезающего в конуру, подальше от греха. Натерпелся, видать, и он.

Теперь в самый раз мне на реку податься. Она подворачивает прямо к нашему огороду, а потом, будто пожалев, передумала его разрезать и круто в сторону подалась. Эту речку самый резон мне считать своей — она так близко подходит только к нам.

Речку Липой прозвали за то, что по берегам липа разрослась, пчела так и гудит, так и налетает на деревья во время цветения. Мне ли не знать этого! Этот липовый цвет я собираю каждую весну. Мои ноги помнят, почитай, каждый сучок, на который приходится становиться. Иную пчелу потревожишь за её занятием - не простит, так ужалит, что весь липовый сбор летит бабушке на голову. Только лучше перетерпеть, а не кидаться с ветки - того и гляди, целый рой за тобой погонится.

По правде сказать, рой настоящий не страшен. Там пчёлы не кусучие, они ж вылетели из улья на переселение, мёдом в дорогу запаслись. Матку свою оберегают да ищут, куда бы им поселиться, а то в улье тесно стало, там матка молодая осталась, ещё пчёл нарожает... Сейчас я гляжу на липы: они скучные, нет там пчелиного гудения. До следующего цветения так и будет.

На самом краю огорода огуречные плети расплзлись. Я прихватываю несколько огурчиков с пупырышками, замечая, что некоторые уже переросли, стали большими. Как поросята выглядывают из-под листьев. «Теперь будет чем Майке полакомиться», — думаю, сбегая с кручи, разгоняясь и останавливаясь только в воде. Добираюсь до середины речки, там на большом камне и сижу. Ноги мои вода щекочет. Солнышко припекает. Я не знаю, сколько я тут сижу; о чём думаю, тоже не знаю, может, ни о чём. Тут меня и захватывает врасплох голос брата, уже заявившегося из школы:

— На солнышке жарисься, русалка! Вот я тебя сейчас в колдубанку окуну.

Куда там мне противиться брату. Он сгрёб мои выгоревшие на солнце волосы, тянет за собой.

— Отпусти-и-и, я крыс боюсь...

Тут среди камышей нутрий поразвелось несчётное количество. Мама с папой им и еду подбрасывают, чтоб не оголодали, а потом самых крупных ловят. Шапку Витьке справили из нутрий, воротник, а мне из кусочков мама даже шубейку спроворила. Только я её ещё не надевала. Страшно в шкурах ходить, да и великовата она мне. Может, в эту зиму и придётся по холоду надеть.

Мы купаемся и брызгаемся с братом. Распугали всех зверьков, которые поблизости обретались. Одна нутрия скользнула мимо меня. Я напугалась, но тут же закричала, кидаясь следом:

- Куда ты поплыла, хвостатая кабаниха?

Брат мой хохочет:

- Гляди, осмелела Лидка, шоколадная плитка.

Куда там осмелела. Просто я с братом ничего не боюсь. Он даже на волка ходил с папой. Волка не встретили, и он ещё не одну овечку порезал у соседей в загонках. Зря и другие налаживались его подстрелить, всё попусту. «Матёрый волчище, - говорил отец. - По следам видно, что матёрый...»

Витька накупался и подался делать уроки да маме помогать. Меня он и не позвал: что толку с этой малолетки; так, наверное, думает. Мне даже обидно становится, я вспоминаю, что у меня есть свои обязанности — нарвать к приходу коровы из стада зелёной травы, повилики, молодых побегов акации.

Я бегу домой за серпом, который острым концом воткнут в камышовую крышу сарайчика. У серпа лезвие поисточилось, ручка блестит. Папа перехватывает меня у ворот:

- Куда нацелилась, Ладушка? - говорит он, а сам протягивает руку за серпом. - Послужи-и-ил, родимый, пожал камыша на крышу, пашанички! А теперь разве что беремку травы нажнёшь для Майки... В котлинку, в котлину иди, дочь, там травка молодая завсегда! — кричит он мне, потому что я уже бегу, забрав у него серп.

В котлине, конечно, с косою не развернуться, а трава, и вправду, стоит как заговорённая, зелёная-презелёная. От неё даже прохладно. Сейчас вот нажну и кататься можно, да только того и гляди медяница или уж покажутся. Им тут лафа. Они, конечно, не такие и страшные, как нутрии, да только от встречи с ними мало радости.

Уже несколько охапок травы лежит в сарайчике, Майку дожидается её любимое лакомство. Я отряхиваю травинки, которые набились и в одежду, и в соломенные волосы. Отец отвязывает от коновязи Орлика. Конь скосил на меня глаз свой блестящий: «Что там за малявка внизу копошится...» С Орликом у меня свои отношения. Я его боюсь, страхолюдину. Он же до небес вымахал! У него ноги, как столбы. Не дай бог лягнёт! Но я не показываю вида. Независимость соблюдаю. Пару раз меня папа даже кидал к нему на спину, поводья в руки давал. Я там сидела ни живая ни мёртвая, но ни разу не запросилась назад, только уцепилась за седло. Аж пальцы побелели. Сейчас меня отец опять кидает в седло, а мама с порога:

- Шутки, Никита, такие игрушки позволять с дитём! Али совсем спятил?

У Орлика грива, как маслом намазанная, сверкает на солнце, уши торчат настороженно: «Что там за седок объявился?» — думает, наверно. А я похлопываю его по холке, рассыпаю гриву: никакой он не страшный! Даже наоборот... Пока я об этом раздумываю, слышится крик тётки Нинки:

- О, проклятый пьянчуга, насмерть засекает мальчонку! Беги, Никита, усьмири ирода.

Тут папа срывается с места, как и не стоял. Мама, как квочка, захвохтала:

- Ой, дочушка, как же теперь? Давай я тебе подсоблю слезть...

Как у меня получилось это, сама не знаю. То ли за хозяином Орлик подался, то ли я поводьями его направила. Мне вожжи дёргать не впервой. Только дело было с волами, запряжёнными в арбу. Я с культстана всю дорогу управлялась, когда из степи ехали с отцом.

Ну вот Орлик, придерживаемый поводьями, и из калитки вышел, и трусцой по проулку подался. Я так боюсь за Павлика, что о себе думать забыла. Только мама следом кинулась с причётами. Мне стыдно за неё — Павлика засекают, а она обо мне думает. Я тут пятками и ударила коня под бока. Ух, он и полетел. Вмиг обогнала я отца, поводья так натянула и так сердито закричала: «Тпру-у-у!», что конь как вкопанный стал. Я кубарем полетела ему на шею, а потом, цепляясь за гриву, скатилась на землю благополучно.

И тут же про коня забыла и про Полкана не побеспокоилась. Залетела в сенцы, кричу: «Милиция-я-а...» Не знала, как испугать дядьку Касьяна. Он, красный, как рак, с пеной у рта сёк Павлика — с оттяжкой, со всего маху. Ну тут я и повисла у него за плечами, он не удержался и шмякнулся на грязный пол, ударившись головой о стену. Какая тут полетела матерщина, не передам. Мне в таких случаях бабушка Макришка велела всегда уши закрывать. Тут и взрослые подоспели.

...На бедарке, которую держала дома тётка Нинка - как память о Василии Ивановиче, муже её, погибшем на войне, - увезли избитого Павлика в больницу. А этого дурака, как про него сказал мой папа, бросили связанного в чуланку.

- Пущай с ним разбирается милиция, - говорил папа, поглядывая то на меня, то на Павлика, который не плакал, а как-то сипел, хлюпая носом разбитым.

В больнице толстая врачиха велела носилки принести, говоря, что у Павлика, видно, ещё и сотрясение мозга... Обратный путь у нас был молчаливый, только отец всё смотрел на меня как-то странно:

- Ты это, Ладушка, как же поскакала-то на Орлике? С перепугу, али как? Не возьму никак в толк. Не побоялась, как заправский наездник прошмыгнула мимо меня, у меня и ноги в траве запутались, я и полетел на землю.

- Да ну? — удивляюсь я. — Ушиб, должно быть, землю — такой большой.

Мы смеёмся, а потом оба понимаем, что Павлику там не до смеха.

- Ничего, ничего, укоротят ему руки, проклятому, — говорит отец — наверное, о дядьке Касьяне. О ком же ещё? И как не укоротят, если совсем распоясался.

На следующее утро я проснулась ранёхонько. Мне не было дела глядеть, как новый день закатывается в мою комнату. Я перво-наперво справляюсь о Павлике, потом о дядьке Касьяне. Его забрали в милицию, а наутро отпустили, говоря, что лишат его родительских прав.

- Зря, - добавляет мама, - надо было б ему пришпандорить лет пять, чтоб знал, как охальничать.

- А что с его взять, с пьяницы, — отец заступается вроде. - Ить пьяный человек как бы даже не человек. Касьяна надо спасать от него самого.

Бабушка Макришка осуждающе смотрит на своего сына:

- Не придумывай, Никитушка! Не заступничай! Оскотинился Касьян давно уж. Он и свёл в могилу Меланью. Сколько раз я её в синяках видела, а она молчала, скрывала позор. Оправдывалась перед людьми: «Ударилась...» Теперь вот и Павлушку покалечил, должно. И как же ему сироту не жаль... Ить без матери по его вине растёт чадушко.

Последние слова бабушка произносит, всхлипывая и вытирая глаза передником. Бабушка Макришка всегда была такой. Каждую беду, случившуюся хоть на другом конце села, она переживала дольше всех — видать, и пригнуло её к земле горе людское. Хотя и своего хватило бы на десять человек. Так о ней говорили многие. И когда я это слышала, мне было стыдно, что я порой к ней невнимательна.

Вот и теперь все уже занялись своими делами. Мама наготовила стирки целый ворох. Папа вскочил на Орлика и уехал в степь, а бабушка лампадку зажгла и стала шептать:

- Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь. Хмель и вино, отступитесь от раба божия Касьяна в тёмные леса, где люди не ходят, и кони не бродят, и птица не летает...

Я стою с бабушкой рядом и тоже начинаю просить бога, чтоб он пожалел Павлика и послал разум его отцу. Мне никуда не хочется бежать. Я только и знаю выглядываю за калитку: не видать ли дядьки Касьяна в проулке. Может, он опамятовался и проклиная себя? Не видно было нигде и тётки Нинки. Но вскоре она появилась у нас в калитке и рассказала о Павлике, которого она «бегала» проведать. Мама развешивала на верёвке бельё и продолжала сокрушаться о «бедной сиротке».

- Ты знаешь, Настёна, я решила Павлушку забрать к себе после больницы, — почему-то шёпотом напоследок сказала тётка Нинка. — Касьян конченный человек. Только вот как в сельсовете к этому отнесутся. Как думаешь, разрешат усыновить ребялёнка?

Мама говорит, что нет им никакого резону не разрешать, потому как сберегать детей и им полагается. Мне от их разговора становится легче на душе. Я не представляла, как Павлушка опять будет жить с дядькой Касьяном.

На обеденную дойку мама меня взяла с собой.

- Айда, дочушка, на стойло. Сидишь тут одна-одинёшенька. Витька, должно, опять гоняет футбол, не настачишься на него ни одёжи, ни обувки. И какая уж школа там... Не выучится, должно... И с губами разбитыми приходил, и с фонарями под глазами...

- Так он же вратарь, ему никак нельзя без фонарей, - резонно вставляю я.

- Заступница! - смеётся мама. А когда она смеётся, всё сразу становится весёлым. Я вырываю руку из её руки и начинаю прыгать и даже кувыряться.

- Ну вот и ладно. Так бы давно. А то сидишь, пригорюнилась, как старушонка, — радостно говорит мама и размахивает доёнкой, расплёскивая воду, которую захватила, чтобы перед дойкой помыть вымя корове.

Стойло находится на холме, со всех сторон обвеваемом ветрами. Но сегодня не замечается никакого движения воздуха. Коровы сбились в кучу, отбиваются от слепней хвостами. Мелькают белые кофточки и платки и впереди и позади нас — все идут доить коров. Вот уже мы скоро поднимемся; хоть и тихо, а наверху кажется прохладнее. А степная трава пахучая, разомлевшая. Кузнечики стреляют по ногам, неймется им, из полынка запоздало выпархивает какая-то птичка, напуганная до смерти. Видать, дремала... Я слежу за птицей, прижмурившись: куда она полетит?... А она недалеко отлетела и камнем упала вниз. Куда там ей сейчас взлетать высоко! Но всё-таки откуда-то падает песня жаворонка, рассыпается, а я никак не могу увидеть, откуда же летит эта песня...

Мама отдаёт мне старый мешок. Мы всегда берём его - можно собрать немного коровьих лепёшек. Пока мама доит корову, я уже насобирала полный мешок. И ещё несколько кучек наложила, подожгла их спичками и сухой травой. Вот мне опять попадёт за то, что я взяла «серники», мама уверена, что я когда-нибудь степь подожгу. Но я не стану дожидаться маму, я тащу по траве тяжёлый мешок с горки, он чуть что не катится сам, а где ямка попадается, там

дёргаю его туда-сюда, пока не вытащится и не станет скользить. Но на равнинке, конечно, мне этот мешок тащить слабо, а тут ещё мама кричит на всю ивановскую: «Подожди меня-я-а...» Я оглядываюсь, а мои костры дымят себе. Куда ж им не дымить - я сырых кизяков сверху понакидала.

Мама одной рукой несёт доёнку с молоком, другой подсобляет мне управляться с мешком, приговаривает:

- Не спеши, не спеши, а то не ровён час полетим мы с тобой кубарем...

Мимо дядьки Касьяна идём, и я замедляю шаги. Он вышел за калитку, опёрся на стену и смолит самокрутку. На нас он и не смотрит. Нечего и нам с ним тут останавливаться. Я что есть сил дёргаю мешок, и мама тоже за мной следом не отстаёт:

- Табачищем весь провонялся! Щетиной зарос, пёс непутёвый, а от сивушного перегара мухи, наверное,дохнут...

Дядька Касьян и не заслуживает, наверное, никаких других слов. Никакого раскаяния он не испытывает... Не проклинает себя за Павлика. По всему видать... У меня мстительно и сердито сжимаются губы: «Ничего, пёс непутёвый, будет тебе скоро! Отберут у тебя Павлушку...»

За обедом мы едим помидорные «кубышечки» со сметаной и картошкой. Витька пришёл без синяков под глазами, в целёхонькой одежде, чему я радуюсь, как прянику. Маме тоже, наверное, приятно, что ничего не произошло с моим братом. Она говорит и говорит о «худобе», которой нужно заготавливать корм, о детских яслях, где она «вожжается» с малюкашками, о тётке Нинке, которая потянулась к Павлушке, как одинокая травинка к тёплому лучику... Я уже и не слышу ничего, что там ещё и Витька говорит, куда-то проваливаюсь, и мне видится наш заброшенный колодец, доверху наполненный водой, чистой и звонкой, она уже вытекает из-под шейки колодца, и я её беру пригоршнями и подкидываю к солнцу.

- Ну ты посмотри, совсем сомлела дочуня. Бери её, отнеси в кровать, - говорит мама. - Доконал её мешок с кизяками. И сколько говорить, чтоб немножко брала...

Витька меня осторожно поднимает, а я всё слышу, но притворяюсь спящей, и уже когда он меня подносит к кровати, я ему показываю язык. Он, недолго думая, угощает меня шалапетом. Лоб у меня горит. Уж какой теперь сон. Сама виновата.

Какое-то время я валандаюсь во дворе: то с петухом выясняю отношения, он же совсем совесть потерял - не подойти близко к базку с курами! - треплю Мурзика, разлѣгшегося в тени орешника, а потом вспоминаю, что надо травы снова корове нарвать, и бегу в котлину, захватив серп: дело привычное.

То ли я задумалась о чём-то, то ли ворон ловила, но только и не поняла я, как же я так зашла в самую густую траву безо всякой осторожности, и передо мной выхлестнулось длинное жѣлтое змеиное пузо. В этот же момент я и почувствовала жгучий укол повыше щиколотки. Крик мой, совсем не похожий на мой, летит над котлиной и дальше, достигая ушей Витьки и бабушки Макришки. Слава богу, что мама к тому времени ушла в ясли. Витька прилетает ко мне:

- Чего как поросѣнок недорезанный кричишь? Я думал, тут чѣрт-те что...

Я поднимаю над травой ногу и показываю на красненькое пятнышко:

- Ужалила змея-я-а...

- Какая ещё змея? Приблизилось, должно... - пытается он меня успокоить. У меня от страха подкашиваются ноги, и я то и дело падаю. Витьке это надоело, и он меня кинул на плечи. Волочатся мои ноги по траве, руки сразу начинают затекать - так крепко их стиснул брат.

- Вечно с тобой что-то происходит, Лидка-улитка.

Бабушка Макришка, узнав об укусе змеи, кричит Витьке, пытавшемуся улизнуть к ребятишкам:

- Лягунов, внучок! Поболе да пошвыдче, а то сестру твою родимец хватит.

Лягушки у нас водятся в огромном количестве, и не только на речке Липе, но и возле колодца в колдубанке. Когда-то там прудок был, а потом заилилось место, разломалась запруда и по зарослям пошѣл скакать лягушиный мир.

Пока Витька в ведѣрko лягушек таскает, бабушка с прилѣтами и охами дует на ранку, которую, почѣм я знаю, может, и не змея вовсе образовала. Хотя и про другое подумать не резон - ничего там окромя травы густоющей не было, а змея была - тут сомнений никаких.

Когда появился Витька в калитке, у меня сердце от страха во второй раз полетело в пятки - чѣрт, и всё. Упал он в ил или так забрызгался, только ничего другого не остаѣтся, как кататься по двору, схватившись за живот. Я уже теперь и не знаю, то ли мне от смеха помирать, то ли от укуса змеи. Бабушка хватает кинутое ведѣрko с лягунами, смотрит с

улыбкой на внука, стреканувшего купаться на реку, и поспешает ко мне. Она прикладывает к ранке лягушек белым пузом. Они холодные и мокрые. Одна или две сдохли, от страха, наверное, а оставшихся живыми бабушка велит мне оттащить откуда взяты. Ранку она перехватила мне косынкой, снятой с головы.

На Орлике прискакал папа, кинул седло под навес, погладил взмокревшую спину коня, меня увидел, лежащую на топчанчике около хаты.

- Тю на неё, вылёживается середь бела дня, — подошёл ко мне. Тут и бабушка подроспела:

- Нет ли жару? — кладёт руку на лоб мне. Потом рассказывает отцу про укусы змеи.

- Живы будем - не помрём, - подсаживается отец ко мне. Знаю, что он меня успокаивает, но всё же мне лежать тут никакого желания нет:

- Посмотри, - кричу, - бабушка, не разнесло ли ногу под косынкой?

Она и сама не прочь успокоить себя. Трясущимися руками развязывает ногу, и вместе с отцом они удостоверяются в благополучном исходе дела. Я помалкиваю, но озорство и лукавство, написанные у меня на лице, отмечаются отцом с удовлетворением. Действительно, ничего страшного у меня с ногой не произойдёт...

Ещё мне предстоит показать ранку маме, которая вернётся с работы, самой мне уже эта история поднадоела, из-за неё никуда отлучаться мне не велено, но вот-вот начнёт смеркаться. И бабушка первая скажет: «Пора и под стадо, внученька...» Конечно, больше и некому идти за коровой - это же моя обязанность.

Тяжёлые коровы грузно и медленно плывут с горы рвущейся цепочкой. Наша Майка - красной масти, с белой проточиной на лбу, видна издалека. Она начинает бежать трусцой, услышав мой зов.

- Майка! Маечка! - бегу я и сама к ней навстречу, совсем забывая предостережения родителей держаться подальше от коров - мало ли что взбредёт в голову корове какой-нибудь, возьмёт и на рога посадит. И сама я уже убедилась, что в стаде немало коров, которые очень даже могут боднуть.

Майка останавливается около меня и тянется длинным шершавым языком за горбушкой, которую я припасла. До самой калитки я ласково разговариваю с ней, похлопываю по огромному животу; про травку, припасенную для неё, говорю; она, конечно, всё понимает и старается отблагодарить, трётся об меня, заигрывает.

На следующее утро первое слово, которое я услышала, было: «цыгане». Что у меня только с ними не происходило и в прошлом году, и в запрошлом. Это ж театр, это ж цирк бесплатный. Только и разговоров по селу, что про цыган.

- И за что они влюбились наши места, - слышу я мамин голос, - теперь держи ухо востро, всё прибирай со двора, кур пересчитывай.

- Начнут пятнать степь своими кострами, иродово племя, - то ли с укором, то ли с какой-то радостью заключит бабушка Макришка. Может, и ей этот ежегодный цирк нравится.

Витька молчаливо доедает завтрак, зыркает на часы — не опоздает ли в школу, там у них свой школьный огород и несколько свиней в сарайчике, который он называет «поросят подростки всего решительней дают окорот неуправляемому народу, которому и царь был бы не указ, у которого, как папа сейчас говорит, «завихрения» в крови. Ну, теперь слушай разговоры про цыган неделю или месяц - никто не знает, когда им вздумается сняться с кола. Потому как именно с кола, с палатки и начинается их кочевая премудрая жизнь. Не было ни слуху ни духу. Глядь - накрыли палатками косогорчик, будто стая огромных птиц села отдохнуть при перелёте...

Я бегу по проулку к выгону и дальше по косогорчику, в ту сторону, где поставили свои «вигвамы» цыгане. Это Витька так называет цыганские палатки. Он начитался книг про индейцев и теперь не может не показать своих знаний. Действительно, палатки на своём месте стоят, и костры дымят. Мне туда надо пойти обязательно, иначе никакого утра и никакого дня без этого посещения не будет. Первое, что меня удивляет - это большое стадо гусей. «Украли в каком-то селе и снялись оттуда», - догадываюсь я. Конечно, не выращивали же они их. Им же всё готовое подавай. Будут теперь резать их и есть преспокойно. А где-то люди с ума сходят от горя...

Тут же я забыла про гусей, усердно щиплющих травку. Есть на что посмотреть: цыганята коней ведут к колодцу; старая, косматая цыганка в котле помешивает варево; мелкие цыганята задирают рубашонки, хлопают по животу - фу, срамота! - ничего больше и нет под рубашонками. Пока я, потихоньку приближаясь к табору, разглядываю «иродово племя», меня облюбовал гусак и, вытянув шею, стал приближаться ко мне: норовит ущипнуть или за платье уцепиться.

Что мне его дожидаться. Сначала я срываюсь, а потом оборачиваюсь к гусаку:

- Пашё-о-ол, — машу на него руками, — расшипелся тут, змей подколотный...

Целыми днями я околачиваюсь около табора, около колодца, куда приходят коней поить цыгане. Папа их гонит от колодца:

- К речке с лошадьми отправляйтесь! Люди отсюда пьют, а вы хотите всё тут загадить... А ну, повертай, повертай, али не слышишь, что тебе говорят, анцибал! — кричит он подростку, у которого всё лицо кудрявый чуб заволок. Одни глаза зыркают, да ещё зубы посверкивают. Весело ему. И не только ему, вон как другие цыганята обливают водой друг дружку, вёдра надевают на головы, язык показывают мне. Я креплюсь, креплюсь и прыскаю... Им весело, а я тоже незаговорённая.

Мой папа тут как тут:

- Пойдём, Ладушка, неча тут глядеть. Баловство одно у них. Держись от цыганят подальше! Мало ли тебе подружек...

Я соглашаюсь, кивая головой, а сама думаю о том, что подружек у меня всё же мало. На другую улицу не хожу, а на своей - детворы раз, два и обчёлся. Да ещё Павлушка из больницы не торопится возвращаться. Я его разок проведала, он мне так и сказал, что ему некуда торопиться особенно, да и рана на голове плохо заживает. Мне хотелось сказать ему о том, что тётка Нинка его хочет усыновить, но подумала, что это не моего ума дело. Может, и Павлушка не обрадуется чужому дому.

Вскоре у меня обнаружилась подружка Надя в цыганском таборе. Она сама меня позвала к костру и кольцо самодельное из двухкопеечной монеты подарила. У неё на обеих руках браслетки и кольца на пальцах, а на шее блескучие монетки. Она меня за руку таскала чуть не по всем палаткам, а большие цыгане на меня никакого внимания не обращали, будто и не было меня. Один цыганёнок в нас бросил дырявую подушку, и перо полетело во все стороны. Тут Надя и залопотала на своём языке, загоня мальчишку в угол. Только он подлез под палатку и выскочил наружу.

- Почему у тебя длинная юбка с оборками, Надя? Ты же маленькая.

- А мы, цыгане, сразу взрослыми становимся. Гадаем смалечку. Хочешь, тебя научу?

Мне, конечно, ни к чему такая грамота. Я смеюсь и передразниваю слышанные много раз причёты гадалок:

- Дай погадаю, красавица, всё расскажу, что было, что будет...

Надя делает вид, что сердится:

- Не знаешь доли цыганской, не знаешь, как мы голодные ложимся спать иногда. А погляди, какие выводы детворы. У вас, русских, детей мало и дождь за шиворот не льёт...

Совсем она разжалобила меня.

- А пойдём ко мне в гости, я тебе пирожков дам, как раз сегодня мама напекла и с капустой, и с печёнкой.

И мы уже несёмся с горки, и по выгону проскочили, не переводя духу. Я радуюсь, что мамы как раз нет дома, она в яслях, и бабушка Макришка нацеливалась сходить проведать Шалдеиху. Они с нею вместе не один пуд соли съели. Стань рассказывать, не перескажешь, чего они только не пережили. Пригорнёт меня к себе на завалинке бабушка Макришка и начнёт рассказывать. Я всё слушаю и слушаю, потом засыпаю, и мне сон не один приснится, а она всё рассказывает. Потом уже и не разберу, что я слышала, а что мне приснилось.

Мы с Надей пирожки уминаем, аж за ушами потрескивает, молоко топлёное из духовки тащим. Чего б там ещё вкусенького найти? — шныряю я в поставце. Сама думаю: хоть бы мама не объявилась. Она мне запретила с цыганами вожжаться. Уже грозились выволочку устроить за то, что околачиваюсь возле них...

Мне попадают на глаза мои разноцветные бусы, которые я нарезала из цветных проводков. А Надя на эти бусы и глядеть не хочет. Всем своим видом показывает, что это — чепухня и боле ничего. Мне обидно даже становится, а Надя смеётся. У неё серьги болтаются в ушах, монетки на шее звенят и кудрявые волосы по плечам катаются. «Ух и красавица», - думаю я и забываю обижаться.

Я зыркаю уже на ходики, боюсь, чтоб мама не застала в хате Надю, а та и сама заторопилась и попросила у меня пару яичек для братишки. Я лечу в курятник, а там, как назло, куры на гнёздах сидят. Сейчас полезу - клеваться начнут. Да только меня не очень и напугаешь. Я машу руками, кричу: «Кы-ыш, несущки!» - и нагибаю полподола тёпленьких яичек.

Надя в хате с вниманием рассматривает на стене фотографию моего отца: на ней отец с тросточкой и с перстнем на пальце. Я и сама люблю смотреть на эту фотокарточку. Не верю, что папа был такой красивый и жил в богатом доме, когда был молодым.

Надя сверкает зубами, ей понравилось, что я так много яичек ей принесла, но в её длинную юбку можно ещё складывать и складывать эти яички. Очень заторопилась она домой, я и дух не успела перевести, её и след уже простыл.

Может, самую малость у меня совесть и ворохнулась, когда я увидела оставшиеся от пирожков рожки да ножки, почти пустую крынку из-под молока да подумала о том, что в курятнике не осталось яиц, нечего будет снимать, но потом сердце моё успокаивается: не всегда бывают у нас гости, а для гостей, папа же сам говорил часто, «что есть в печи, всё на стол тащи». Да к тому же вон снова курица закудаhtала, радуется, что ещё яичко снесла... Будут и нам яички... Я поправляю самодельные половички, сплетённые мамой из порванной на ленточки ветоши, и бегу на базок проведать белую ласку, что любит греться на солнышке, выползая из норы под сарайчиком. Ласка и вправду нежилась на белом камне, но юркнула в нору, услышав мои шаги. Очень уж она чуткая.

Забираюсь на старую яблоню; зеленоватая кора дерева - гладкая и блестящая, к тому же и прохладная. Сидеть одно удовольствие. Мне видна отсюда присевшая будто хата дедушки Тончика, покрытая почерневшим слежалым камышом. Говорят, что он как посмотрит на корову, так у той и пропадает сразу молоко. А мне в это не верится, дедушка Тончик всегда держит ласковое слово под рукой. Хоть ему уж по возрасту и недугам не до шуток, а он - шуткует, не сдаётся болезням. И глаза у него добрые, не то, что у дядьки Касьяна.

Бабушка Макришка говорила: тот уже не раз ходил к Павлушке в больницу, но Павлушка к нему не вышел, и даже вернула медсестричка узелок с гостинцем. Дядька Касьян и туда наведывался не протрезвевший.

Надо же мне было вспомнить про дядьку Касьяна - сразу стало не так уютно мне на яблоне. Бегу мимо грядок с разомлевшим луком, мимо пахучих помидор, развесивших разноцветные фонарики, и попадаю прямо в передник бабушки Макришки, вернувшейся от своей приятельницы.

- А я пришла - никого! У всех дела. Хорошо, когда бог даёт силы, а вот бедная Шалдеиха и рада бы что сделать, но силов нет. Лежит себе отдыхает, а у неё всё в руках горело. И любила она своего Егора до беспамятства. Делала на него приворот у Кузьмовны.

Мы уже и в хату вошли, я помогаю бабушке Макришке раздеться и лечь - ей по гостям тоже ходить маета, а она всё про свою подругу говорит. Я догадываюсь: потому она с такой теплотой о подруге своей вспоминает, что это ведь и её жизнь была, и её молодость... Мне становится жаль бабушку: ничего у неё не остаётся тоже - ни здоровья, ни сил, одни воспоминания. У меня даже слёзы наворачиваются.

- Что с тобой, внученька? Никак случилось чего...

- Тебя, тебя жалко, - стучу я ладошкой по её острым коленкам, - ходишь еле...

- Нашла об чём думать, будь спок, касатушка, - похлопывает она слабенько по плечу, а сама, только голова прислонилась к подушке, задремала. Я и сама бы не прочь завалиться спать, да слышу мамин голос во дворе, она над братом смеётся, что всё лицо у него в тутовнике:

- Должно быть, ты клевал носом его...

Тутовник, чёрный и жирный, у Витьки в кулёчке.

- Давай, налетай, Лидуха-старуха, - даёт он мне кулёчек, смеётся синими губами.

Опять на школьном тутовнике ребячья стая сидела, думаю я, глотая тутовник, не жуя и нисколечко не обижаясь на брата, который не забывает дразниться.

Мама спешит в огород накопать молодой картошки и оттуда возвращается довольная:

- Надо же, картоха в этом году как пошла рость - успевай только подгартывай, и зацвела - глаз не отвести, а теперь завязалась хорошо, по полтора десятка, чай, под кустом будет. - И на меня смотрит, смеясь: - И ты в тутовнике извозюкалась? Как теперь под стадо пойдёшь, а? - А сама колечками уже в сковородку картошку стругает, ох и руки у мамы быстрые! И глаза от заходящего солнца кажутся ещё синее, чем были, и ямочка на подбородке смеётся.

Пока картошка шкворчит с салом на сковородке, я бегу за Майкой, на ходу вытирая рот подолом платья, всё равно его стирать. Мне слышно, как дядька Касьян ругает Полкана, шугнувшего курицу. А что ж её не гнать, коль к последнему несчастному сухарю подбирается поклевать его. Полкан унижается перед хозяином, виляет хвостом. Мне обидно за вечно голодную собаку, и я задвигаю доску заборчика. А Касьян уже - «Шумел камыш, деревья гнулись» - заскорюзлыми большими руками качает калитку, никак не нацелится выйти из двора.

Я уже возвращаюсь с Майкой, а дядька Касьян всё покачивается возле завалинки своей и неизвестно кому отвечает:

- А как я дошёл до такой жизни, вы спросили меня? Как я скатился с рельсов, знаете?

Все торопятся мимо пройти, кому охота связываться с пьяным, и только тётка Нинка останавливается на секунду:

- И спрашивать нечего! Грех так жить, Касьян. Докатился ты до самого краю, сына забиваешь, членовредитель. Заберу я у тебя Павлушку. - Она хлопнула себя по лбу ладошкой: - Мамочка, неужли на таких управы нет у советской власти.

Тётка Нинка уже поспешала за своей коровой, а вслед летел сиплый голос Касьяна:

- Я сам на тебя управу найду, свистоболка! Павлушку она уздумала у меня забирать.

У меня с Майкой не получается такого душевного разговора, как обычно бывает. Она зря черябает мне руку своим шершавым языком. Я иду с нею рядом, будто не своя. Этот дядька Касьян, оказывается, не только Павлушку мучает, но и меня, болит душа у меня, будто занозилась...

Стол у нас в летнее время стоит у самого крыльца под большой орешинной. Запах от стола идёт заманный. Как тут не поспешать управиться. И папа у ворот уже разговаривает с Орликом, звякает уздечкой, скидывает седло на топчанчик. В доёнку со звоном ударяются струи молока.

Вечеряем торопливо, немногословно. Уже никто не насмехается над Витькой и надо мной, что мы не отмылись от тутовника. У всех одно на уме: скорей бы спать, опять ни свет ни заря просыпаться, и дел на весь день...

Мама доверила мне и бабушке с посудой управиться, а сама пошла стелить постели в хату. И вдруг громко и испуганно запричитала:

- Ой, мамочка, кажись, у нас побывали цыгане. Нет ни вышитого рушника, ни скатёрки под божницей. - Она начинает шерстить тряпки в сундуке. Выясняется, что нет и моей шубёнки из нутриевых кусочков, и ещё чего-то.

Пока мама, приголашивая, проверяет, не пропало ли ещё что, я к ней неуверенно подхожу и окунаю лицо в передник. Меня начинают сотрясать рыдания. Мама пытается отцепить мои руки от одежды, хочет заглянуть в лицо, а я ещё сильней плачу, в голос. Все сбегаются ко мне.

- Да пропади пропадом эти тряпки, наживём ещё! - трясут меня мамины руки, а бабушка Макришка только причитает:

- Не надо, внученька, ты же мне всё нутро выворачиваешь своими слезами.

А папа подходит без разговоров ко мне, его руки поднимают меня без труда:

- Я сегодня, Ладушка, такой заморённый, пожалей отца, скажи: почему так плачешь?

Разве я могу ему ответить? Как мне рассказать отцу, что мне обидно за цыган, которых я полюбила, а они так бессовестно воруют доверие, как мне передать, что дядька Касьян мне тоже нутро всё переворачивает, хоть живёт в сторонке, что мне жаль Павлушку, всего перевязанного; и шубейки, конечно, тоже жалко, я же её так и не носила. Ещё теснее я прижимаюсь к большому сильному отцу и не могу унять слёз.

В суматохе мы не сразу расслышали крики у реки, а когда выскочили за калитку, увидели, как горит изба тётки Нинки. Отец стаскивает меня на землю и толкает к бабушке Макришке. Все, хватая вёдра, бегут по проулку, толкаясь, звеня вёдрами - всё село сбегается. Меня крепко держит бабушка Макришка, зовя брата:

- Унучок, Витя, иде ты, дитёнок? Отнеси и кинь в огонь соли и ладану, и серы... иде ты, унучок?

Я выпрастываюсь из бабушкиных рук:

- Я отнесу, бабушка. И сразу назад прибегу, - успокаиваю её, а то ж не отпустит она меня. Бабушка трясущимися руками шарит в поставце и находит все, что нужно, а потом ещё белой смолы даёт и камфоры:

- Кидай всё в огонь, касатушка, и проси властителей огня, чтоб умилоstinивились.

Я срываюсь и бегу, а бабушка всё призывает своих властителей огня:

— Михаэль, Самаэль, Анаэль, пожалейте бедную вдову, сироту неприкаянную, у неё только руки и ноги да душа заплаканная.

Нет никаких сил мне подобраться поближе к горячей избе, крыша камышовая уже занялась вся, из окон тоже плещется пламя, но я кое-как пробираюсь поближе и кидаю в огонь бабушкины припасы. Витька, носивший воду из речки, приметив меня, тащит подальше от огня:

- Чего ты тут путаешься, мешаешь людям!

Вокруг валяются вещи, которые успели сельчане вытащить из горячей избы. Тут кто-то натывается на пьяного дядьку Касьяна с потухшей паклей, привязанной к палке.

- Так вот она, причина пожара!

- Касьян, Касьян спятил! - кричала Евдоха, божья душа так её многие называли. Удивительно, как она, вездесущая, обретается в таком тщедушном теле!

На крик сбегаются те, кому ведра или места не хватило у горящей избы, уже кто-то суёт кулаками под нос дядьки Касьяна, а он - откуда и проворность взялась - кинулся петлять между валяющимся скарбом и скрылся в темноте.

- Куда ему деваться? Домой, должно быть, подался, ирод.

- Айда к нему домой. Айда-а-а!

Папа натывается на меня, подхватывает:

- Ладушка, зачем ты тут ошиваешься? - Он кидает ведро. - Ничего не помогло, ни вода, ни мои заговоры. Да и где тут силы найти, если б сразу, а то крыша камышовая, сухая, как порох...

Отец тащит меня за руку:

- Иди, иди к бабушке, потом я с тобой, Ладушка, поговорю. Ты мне расскажешь, отчего так горько плакала, а сейчас мне надо быть туточки. Видишь, как крутанула тётку Нинку бесчувственная судьба.

К бабушке я, конечно, не пошла. Меня клещами надо вытаскивать из этого людского омота. Догорающие языки пламени выхватывают страшное, обезумевшее лицо погорелицы. Она уверилась в бесполезности усилий односельчан: дом никаким чудом не спасти. Пустыми глазами она смотрит и на неказистые пожитки свои, которые лишились своего угла. Мама заправляет под сбившуюся косынку растрёпанные волосы:

- Собери себя в кулак! Всем миром дом тебе построим, не жалкуй по этой развалюхе...

- Рассыпалась моя жизнь, как телега, на все четыре колеса. Не собрать мне её уже, Настёна-а-а... - в который раз уже принимается голосить тётка Нинка.

Звон вёдер постепенно стал стихать. Все докумекали, что спасать уже нечего: и крыша, и перекрытия сгорели, и вытулились саманные стены. Дым ел глаза, лез в горло. Среди общего собачьего брёха, что висел над округой, я различила глуховатый лай Полкана. Там, у Касьянова двора, со всем своим бессильным усердием сельчане искали управу на дядьку Касьяна. Гадали, дадут ли ему принудиловку, или получит он, наконец, на всю катушку за свою дурость и злобу. Упоминали и Павлушку, который невольно стал причиной беды.

Я прошмыгнула мимо людского варева, кишащего, смолящего сигарками, кашляющего и матерящегося, залезла через прореху в заборе во двор, где тоже было полно народу, и кинулась к Полкану, осатаневшему от лая и испуга. Почему-то я была уверена, что он меня не укусит и поймёт, что кроме меня у него нет другого заступника.

Я с трудом отцепила цепь и, держа пса за ошейник, повела его огородами к реке. Но от реки тянуло холодом, и мы примостились в стоящей неподалече копёшке сена. Там и угрелись. Полкан мелко дрожал и ластился, и лизал почему-то лицо, хотя я уже не плакала:

- Ну-ну, не бойся, Полкашка, не дрожи, всё наладится. Будешь ты жить с Павлушкой и тёткой Нинкой в новом доме, который всем миром построят. Никто больше не будет тебя бить и морить голодом. И Павлушку тоже никто не будет бить...

Меня поволокло в сон, как в омут, всё дальше и дальше. Надо было куда-то деваться от этого ада, в который швырнула меня окаянная мельница жизни.

Опять мне приснился наш колодец, полный чистой сверкучей воды, из которого пила низко висящая радуга. Она словно лежала на земле, разноцветная и смеющаяся, и я всё старалась и никак не могла перейти по ту сторону этой сияющей радуги.